



Внутри заглянуть трудно. Она встает на цыпочки, чтобы, прилепив носик к стеклу, увидеть то, что происходит поверх занавески, закрывающей нижнюю половину окна. Между пышными головками пеларгоний, которые обычно раскачиваются, высунувшись наружу, а сегодня по непонятным причинам заперты за стеклянными створками, темно. Хотя темно там почти всегда. Окна маленькие, свет просачивается сквозь них в дом только в ясный день.

Она поворачивается, чтобы взглянуть на крутую дорожку, ведущую к их дому. Сурмена тащится еле-еле, у нее и так с ногами плохо, а тут еще Якубек. Он тяжелый, она это знает — сама его с трудом поднимает.

Она опять оборачивается к окну. Ей кажется, что там видны ноги. Из-под печки выгля-

дывают ноги, кусочек, от колен вниз, но да, это ноги, обутые в тяжелые черные сапоги.

— Я ноги вижу! Папа дома! — кричит она за спину Сурмене. — Все-таки дома!

— Погоди, отодвинься, — отстраняет ее Сурмена с Якубеком на руках, когда наконец поднимается к ней. Прикладывает к глазам ладонь и прижимается лицом к верхней части стекла.

— Ну да, там он. Паразит.

Она распрямляется, перекладывает Якубека на локоть и говорит:

— Ступай! — а когда девочка поворачивается, то слышит, как Сурмена бормочет себе под нос: — Пусть только еще меня о чем попросит, пьянь.

Сурмена, решительно шагая, проходит вдоль грубо оштукатуренной стены, она — следом, вплотную к ее юбке. Мокрая раскисшая земля хлюпает под ногами. Она пытается заскакать в следы Сурмены, но не попадает. Скрипит калитка, она проскальзывает в нее. Оставляет калитку открытой, бежит рядом с Сурменной к двери дома, большой ранец на ее спине ерзает, над ним подпрыгивают две растрепанные косички, уже всего с одной ленточкой. У порога она останавливается и, вытаращив глаза, уронив подбородок, оборачивается

к Сурмене. Возле двери стоит колода, но топора, всегда торчавшего из нее, на месте нет. Раздутые тела кошки и котят лежат там, на-верное, уже несколько часов.

— Это Мицка, — говорит она удивленно, — это же наша Мицка. И котята. Она еще даже не успела их нам показать!

Кошачье тело раздулось, точно шар, кровавая дыра там, где была шея, кишит мухами. Тельца котят поместились бы в ладонку. Крохотные, круглые от скопившихся газов; если бы она наклонила ладонь, они бы выпали из нее и катились бы по откосу вниз, до самого Грозенкова.

— Алкаш, мерзавец, ну погоди у меня! — задыхается от гнева Сурмена, крепко хватая ее за плечо, отворачивает от этого кровавого зрелища и заталкивает в дверь, внутрь, в маленькую прихожую.

— Ботинки вытри, а то грязи нанесешь, — говорит Сурмена сердито, но это и так понятно, и она уже медленно шаркает ногами по половику и опять оборачивается поглядеть на то, что осталось от Мицки.

— Не смотри туда, плохие сны приснятся! — велит Сурмена, и Дора стремглав несется через прихожую. У двери в комнату она врезается в Сурмену. Бесконечная доля секунды, за

которую она в полете последнего шага прошмыгивает между боком Сурмены и дверной рамой и заканчивает свой последний шагок с взглядом, прикованным к дощатому полу. У папиных ног лежит мама, ее юбка задралась на бедра, а вокруг, повсюду вокруг нее — лужа темной засохшей крови. Тишина. И они трое в дверях, точно статуи.

— Вооон! — внезапно пронзает ее, словно острое ножа, высокий Сурменин голос, она дергается, аж подпрыгивает, ударяется головой о косяк и бежит прочь, ноги заплетаются друг о дружку, чудо, что она не падает. За спиной раздается перепуганный плач Якубека и крик Сурмены, запнувшийся на одном слове: — Вооон! Вон! — И она бежит, бежит мимо Мицки и ее котят, бежит вдоль деревянного забора, проскакивает в калитку, бежит мимо дома, по дороге, размокшей от летнего дождя, бежит все дальше, вниз. Туда, где живет Сурмена. Там она останавливается, аккуратно открывает и закрывает калитку и неспешно, как всегда, идет к скамейке на узкой веранде. Садится и, устремив взгляд на холм напротив, ждет. Видит, как по дороге, по которой она только что бежала, ковьялет Сурмена, согнувшись под тяжестью Якубека, но быстро, очень быстро, раньше Дора ее такой никогда не ви-

дела. И вот уже до нее доносится плач Якубека и пыхтение Сурмены.

Сурмена грузно опускается на скамью и, положив одну руку на голову Якубека, а вторую — на Дорино плечо, утешает обоих.

— Это ничего, ничего, — говорит она.

Но она ей не верит. Это — вовсе не ничего, вот это вот.

Солнце уже село, и в горы крадется тьма. Дора сидит на лавочке; плач Якубека помаленьку утихает, разве что взбулькивает еще иногда в коротком, отрывистом всхлипе. Скоро Дора уже слышит лишь, как он мерно дышит сопливым носиком. Сурмена тоже успела перевести дух, однако рука, обнимающая Дорины плечики, охваченные лямками ранца, все еще дрожит. На лямках — большие красные светоотражатели, такие, как она хотела. Большие красные кружки, которые отражают свет, если на них посветить, такие же, как у детей снизу, из Грозенкова. За этим ранцем они с мамой ездили в самый Угерский Брод, и было это прошлым летом.

Над их домом на противоположном склоне уже темно, ночь выползла из-за холма медленным неудержимым потоком, словно кто-то разлил ее в той стороне, где Бойковице.

— Останетесь у меня, — говорит потом Сурмена.

И когда она устраивает их за печкой среди одеял и выделанных овечьих шкур, в тепле, которое разливается повсюду вокруг Доры, а после пареного мака — и внутри ее желудка, она успевает еще услышать:

— Ничего не бойся, вместе мы с этим справимся. Ты станешь моим *анджелом*. И тебе будет хорошо. Вот увидишь.